

Глава L

По прибытию на вокзал Сент-Луиса мы были немедленно окружены толпой друзей, в которую затесалось множество репортеров с фотоаппаратами. Было шумно и весело, однако такое многолюдье мне было не по душе — хотелось тишины и покоя.

Узнав, что по дороге на Восток я планирую задержаться в Чикаго, где жил Бен, Стелла стала умолять меня отказаться от этой мысли. «Ты столько времени пыталась от него избавиться, всё только-только утряслось, и теперь ты снова хочешь лишиться покоя», — сетовала она. Я уверила ее, что причин для беспокойства нет: в тюремном одиночестве человек находит мужество обнажить собственные чувства и принять себя таким, какой он есть, и если он сумеет пройти это испытание, то впоследствии будет куда меньше страдать при виде наготы чужой души. Я выдержала множество подобных экзаменов, и это позволило мне понять суть наших отношений с Беном. Мечтая о безумной страсти, в которой не было бы места пошлости, я поняла: всё, что наполняет нашу жизнь — как великое, так и низменное, как прекрасное, так и отвратительное, — рождается из одного и того же истока и течет по единому руслу. После этого озарения то лучшее, что было в Бене, увиделось мне более ярко и выпукло, всё прочее же перестало что-либо значить. Он, простой человек, которым двигали одни лишь эмоции, не мог делать что-то наполовину, и потому всегда отдавал себя без остатка, посвятив лучшие годы мне и нашему делу. Для женщины такое поведение не является чем-то сверхъестественным: многие из представительниц прекрасного пола бросали свои таланты и надежды на алтарь любви, но лишь считанные мужчины пошли бы ради своей возлюбленной на подобные жертвы. К их числу принадлежал и Бен, полностью подчинивший себя моим интересам. Он источал целые реки любви, и сам же то и дело возводил на пути этих потоков несокрушимые преграды. Я была просто без ума от его душевности и щедрости, но ненавидела его самовлюбленность; в чувственной сфере мы с ним подходили друг другу буквально во всём, но в плане культуры между нами были целые поколения. Сочувствие и душевные порывы, цели и взгляды были для него такими же непостоянными, как и настроение, а осмысливать простые истины и превращать их в свои жизненные принципы он попросту не умел.

Моё же существование целиком и полностью зависело от судьбы человечества. Я стремилась стать частью его духовного наследия, мою личность сформировали его ценности, а моей сущностью стала борьба, и в этом заключалась пропасть, разверзшаяся между нами.

Поэтому в своем тюремном одиночестве я уже не ощущала беспокойства, переполнявшего меня, пока рядом был Бен. Сердце, правда, иногда устремлялось к нему, но я подавляла эти порывы, после нашего последнего расставания поклявшись себе не встречаться с ним до тех пор, пока я не приведу в порядок свои расхристанные чувства. И я выполнила этот обет: от многолетней страсти не осталось ничего, ни любви, ни ненависти — только дружеская признательность за всё, что дал мне этот человек, встречи с которым я больше не боялась.

В Чикаго он встречал меня с огромным букетом цветов. Это был всё тот же Бен, который ничтоже сумняшеся хотел повернуть время вспять, и потому моё безразличие заставило его глаза округлиться от удивления: он совсем не изменился, а потому не понимал, что изменилась я. Задумав пригласить меня к себе на ужин, он спросил, приду ли я. «Конечно, — ответила я. — Я непременно приду познакомиться с твоей женой и ребенком». И я действительно отправилась к ним в гости, ибо опасаться было нечего — любовь ушла, остались лишь спокойствие и умиротворение.

В Рочестере с прежней любовью и радушием меня встретило всё наше семейство, лишь Елена уехала в Мэн, написав мне оттуда: «Я не знаю, зачем Минни привезла меня сюда. Я не понимаю, как можно забыть постигшее меня горе, и чем больше смотрю вокруг, тем тяжелее становится моя утрата, которую я ношу с собой повсюду». По дороге в Рочестер Стелла описала мне состояние Елены и предупредила, чтобы я была готова ко всему, однако увиденное превзошло даже самые жуткие мои опасения: сестра превратилась в высохшую, сгорбленную костлявую старуху, двигавшуюся, словно заведенная кукла. Ее лицо посерело и увяло, а в глазах стояло невыразимое отчаяние. Я прижала ее к себе, и ее хрупкое тельце вновь содрогнулось от рыданий: по словам родных, с тех пор, как пришло извещение о смерти Дэвида, она только и делала, что плакала, и со слезами из нее вытекала жизнь.

«Забери меня к себе в Нью-Йорк», — умоляла она. В молодости она мечтала всегда быть рядом со мной, и теперь то и дело повторяла, что этой мечте настала пора сбыться. Я же разрывалась между страхом и жалостью: мое положение было шатким, в перспективе виднелась лишь неизвестность, повсюду крылись опасности... Выдержит ли Елена такую жизнь? Однако спастись от самой себя она могла бы, лишь с головой погрузившись в дела; возможно, в заботах о дочери и обо мне она позабудет о своем горе? Это был шанс, и я сказала, что по прибытию в Нью-Йорк тут же сниму квартиру, и вскоре Минни сможет перевезти ее ко мне. Елена глубоко вздохнула и, как мне показалось, ей стало легче.

Страдания занимали всё время Елены и отбирали у нее все силы, так что все заботы по дому взвалила на себя Лина, у которой была еще и собственная семья. Впрочем, она не попрекала сестру и не пеняла судьбе; вместо этого она трудилась, не жалея сил и не ожидая наград, поскольку принадлежала к числу людей, которых не воспевают поэты, но на которых зиждется этот мир. Всеобщее уныние, встретившее меня дома, смогли развеять лишь непоседливость всеми обожаемого четырехлетнего Иана и показная бодрость моей мамочки, которой пошел восемьдесят второй год. Ее здоровье было уже далеко не таким, как раньше, но она все еще занималась благотворительностью и была главной движущей силой множества обществ, в которых состояла. Будучи образцовой женщиной, она уделяла своей внешности внимания куда больше, чем ее дочки. Всегда сильная, уверенная в себе, после смерти отца мама превратилась в диктатора, но ни один политик или дипломат не смог бы тягаться с ней в остроумии, проницательности и силе характера. Всякий раз, когда я приезжала в Рочестер, она рассказывала мне о своих новых победах — например, еврейская община много лет вынашивала планы открытия в городе приюта для сирот и дома престарелых; мама же слов на ветер не бросала. Найдя два подходящих участка, она немедленно их купила, а затем несколько месяцев агитировала еврейский квартал жертвовать на постройку заведений, о которых до этого только говорили. На церемонии открытия приюта не было человека радостнее нашей мамы, пригласившей меня «приехать и

выступить с речью» по столь важному поводу. Когда же я заикнулась о том, что моя цель состоит в том, чтобы помочь рабочим научиться пожинать плоды своего труда и дать каждому человеку возможность пользоваться общественным достоянием, в ее блестящих глазах мелькнул ехидный огонек, и она ответила: «Да, дочь моя, это замечательные планы на будущее; только подскажи нам: как нам сегодня быть с сиротами и одинокими стариками?». Я не нашлась, что ответить.

Еще одним ее достижением было изгнание с рочестерского рынка дамы, прибравшей к рукам всю торговлю погребальными принадлежностями. Ни один правоверный еврей, как известно, не может быть похоронен без положенного одеяния, и когда умерла одна бедная старушка, а ее родные не смогли купить для нее саван по причине чересчур высокой цены последнего, первой, кто откликнулся на просьбу о помощи, была моя мама. Она решительно отправилась к наживавшейся на мертвецах бизнес-леди и потребовала, чтобы пресловутый посмертный наряд был отдан родственникам усопшей бесплатно, угрожая в противном случае разорить ее. Ответа не последовало, и тогда мама начала действовать: купив нужной ткани, она самолично пошила ставший притчей во языцех саван, а затем пошла в крупнейшую мануфактурную лавку Рочестера и убедила ее владельца поставлять им материю по себестоимости, на что тот отвечал: «Все для вас, миссис Гольдман» — мама очень любила повторять эти слова. Затем она собрала женщин, которые принялись шить саваны, и оповестила общину о том, что с этих пор погребальные одеяния будут продаваться по десять центов; естественно, вскоре монополистка разорилась.

Вообще об энергичности и душевной щедрости моей мамы ходило множество баек, но ни одна не позабавила меня больше, чем история о том, как миссис Таубе Гольдман поставила на место даму, возглавлявшую одну могущественную общественную организацию. На одном из митингов мама говорила слишком долго, и когда другая выступающая попросила слова, а председательница нерешительно заметила, что миссис Гольдман уже выговорила свое время, мать выпрямилась во весь рост и воскликнула: «Мою дочь Эмму Гольдман не сумело заставить замолчать правительство Соединенных Штатов, а вы хотите закрыть рот ее матери?» Возможно, мама не всегда была открыта нам в своих чувствах (в полной мере их познал лишь наш младший брат), но я никогда не забуду один случай, открывший мне силу ее любви. Однажды она с таинственным выражением лица отвела меня в сторонку и сказала, что составила завещание, по которому ее главное сокровище достанется мне, буде я пообещаю пользоваться им после ее смерти. Затем мама вынула из ящика шкатулку для драгоценностей и протянула ее мне. «Вот, дочка, что я оставляю тебе», — сказала она, передавая мне медали, полученные от разных благотворительных организаций. Едва сдерживая смех, я сказала, что не смогу их носить, поскольку у меня уже очень много наград, пусть и не таких блестящих, как эти, однако непременно сохраню их вместе с любовью и уважением к той, от кого они мне достались.

Гарри Вайнбергер поехал в Атланту, чтобы встретить Сашу. Судьба вновь сыграла с ним злую шутку: на этот раз у него украли три дня свободы, и вместо 28 сентября Саша вышел из заключения только 1 октября. Чуть ли не у самых тюремных ворот его встретили многочисленные детективы, в том числе специально направленные прокурором Фикертом из Сан-Франциско; они немедленно попытались арестовать Сашу, однако федеральные офицеры заявили, что прибыли раньше, и теперь он находится в их юрисдикции. Друзья

собрали пятнадцать тысяч долларов, чтобы заплатить установленный Иммиграционным бюро залог, и теперь Саша снова был с нами. Он был бледен и выглядел изможденным, но, как прежде, излучал уверенность и сыпал прибаутками. Вскоре нам стало ясно: это всего лишь эйфория свободы, ибо Саша был очень болен. Узилище Дядюшки Сэма за двадцать один месяц сумело добиться того, что Западная тюрьма Пенсильвании тщетно пыталась сделать в течение четырнадцати лет — Атланта расшатала его здоровье и выпроводила полной развалиной, навсегда оставив в его сердце память о творившихся там ужасах.

За протесты против жестокого обращения с заключенными Сашу содержали в подземном изоляторе, камера которого была настолько мала, что в ней невозможно было двигаться. Источавшее зловоние ведро, предназначавшееся для оправки, выносили только раз в сутки, а из еды ему полагались лишь два жалких ломтика хлеба и кружка воды в день. Затем, в наказание за попытку защитить чернокожего заключенного, он угодил в дыру, в которой не мог даже выпрямиться, и которая едва доходила до метра в длину и полутора в ширину. Закрывалась она двумя дверями — решетчатой и глухой, что лишало находящегося там узника света и полностью исключало приток свежего воздуха. В этой камере, прозванной «могилой», человек постепенно задыхался — не зря она считалась самым жестоким наказанием в тюрьме Атланты, призванным сломать дух заключенного и заставить его просить пощады. Саша же отказался это делать, и, чтобы не задохнуться, был вынужден часами лежать на полу, прижимая лицо к щели между дверями и кирпичной кладкой, и только поэтому ему удалось выжить. Ну, а после выхода из этого застенка его «всего лишь» на три месяца лишили переписки, запретили читать книги и прессу и не позволяли заниматься спортом, и в таком положении он без перерыва провел семь с половиной месяцев своего заключения — с 21 февраля вплоть до самого освобождения 1 октября.

Воспоминания об Атланте преследовали Сашу еще очень долго, и часто ночами, в очередной раз пережив кошмары своего недавнего бытия, он просыпался в холодном поту. Для меня его тюремные видения были не внове, но Фитци очень переживала по поводу такого его состояния, поскольку, начиная с 1916 года, ей самой пришлось перенести немало страданий и тревог, и теперь ее нервы были на пределе. Кроме своих непосредственных обязанностей в театре Провинстауна, она взвалила на себя почти все приготовления к предстоящим акциям — всеобщей забастовке в защиту Муни, кампании по освобождению политзаключенных и Национальному дню амнистии. На ее плечах были также заботы о заключенных радикалах и сбор денег на залоги и суды, и лишь с помощью некоторых товарищей, из которых следует упомянуть Паулин, Хильду и Сэма Ковнеров, Минну Ловензон и Роуз Натансон, Фитци справлялась с этой колоссальной нагрузкой.

Удручало не столько постоянное напряжение, которого требовала эта деятельность, сколько глубокое разочарование в людях, подключившихся к кампании Биллингса-Муни. Политиканы от станка почти полностью выхолостили ее боевой дух: из-за их малодушия провалилась назначенная на первую неделю июля всеобщая забастовка. Те же консервативные элементы проголосовали против октябрьской стачки, заранее обрекая ее на неудачу. Отдельные радикальные организации тоже веселились, как могли, отказываясь вносить в обсуждаемый манифест имена заключенных, которые не были их членами. Фитци была совершенно права, когда заявляла, что требование всеобщей амнистии только укрепит движение за Муни и Биллингса, но даже такой боевой товарищ, как Эд Нолан,

первоначально голосовал против ее предложения (хотя позднее он, переменив свое мнение, поддержал его). Недальновидность и нерешительность большинства рабочих организаций спровоцировало раскол и сильно навредило сидящим в тюрьмах революционерам.

Тем временем состояние Саши ухудшалось. Обследование, проведенное нашим соратником доктором Вовшином, показало, что необходимо срочно делать операцию, но Саша с упрямым безразличием отмахнулся от этого, и, дабы застигнуть его врасплох, нам с Фитци пришлось устроить с врачом целый заговор. Поздним вечером Вовшин и его помощник приехали на повторный осмотр, однако Саши не было дома, и никто не знал, где он. Оказалось, что его пригласили на еврейское празднество, нарочно для него устроенное матерью бывшей секретарши «Матушки-Земли» Анны Барон. Доктору Вовшину, которому еще ни разу не доводилось оперировать пациентов, вернувшихся с грандиозного пиршества, под предлогом повторного осмотра удалось уговорить Сашу лечь. Он сразу же дал ему эфир, но Саша стал сопротивляться наркозу, бился в конвульсиях, выкрикивая, что помощник начальника тюрьмы пытается его убить, и клялся прикончить этого сучьего сына. К сожалению, я задержалась по одному неотложному делу и встретила бежавшую в аптеку Фитци уже у самого дома. Белая, как привидение, она сказала, что Саше уже дали столько эфира, что им можно было усыпить нескольких человек, но наркоз почему-то его не берет. Комната, в которой находился больной, выглядела, словно поле боя; очки фельдшера разбились, его лицо было исцарапано, а доктор Вовшин получил несколько синяков и ссадин. Саша, уже одурманенный эфиром, всё еще скрежетал зубами и ругал помощника начальника тюрьмы. Я взяла его руку и ласково заговорила с ним, и вскоре почувствовала, что он сжал в ответ мои пальцы, а затем и совсем притих.

Очнувшись после операции, он открыл глаза и в ужасе уставился перед собой. «Проклятый помощник!» — закричал он, пытаясь вцепиться кому-то в горло, и мы еле удержали его, беспрестанно уверяя, что он в кругу друзей. «Фитци и я здесь, с тобой, милый, — шептала я. — Никто тебя не тронет». Саша недоверчиво взглянул на меня. «Но я же вижу его прямо перед собой!» — настаивал он, и нам потребовалось немало усилий, чтобы убедить его: он не в Атланте, ему это только кажется. Он пристально смотрел мне в глаза. «Если это говоришь ты, значит, это правда. Тебе я верю, — наконец произнес он. — Но как же, черт возьми, удивителен человеческий разум!» После этого Саша, наконец, спокойно уснул.

Вернувшись из Джефферсон-Сити, я обнаружила, что всё, что мы создавали в течение стольких лет, разрушено и уничтожено. Изъятую при обыске литературу нам не вернули, «Матушка-Земля», Blast, Сашины «Воспоминания» и мои эссе были запрещены, а огромные суммы, собранные за время нашего заключения, в том числе и три тысячи долларов, присланные нашим шведским товарищем, пошли на оплату жалоб по делам пацифистов, работу по амнистии политических заключенных и другие дела. У нас ничего не осталось — ни литературы, ни денег, и даже дома у нас не было; ураган войны смел всё на своем пути, и нам нужно было начинать всё сначала.

Одной из первых ко мне пришла Молли Штаймер, которую привел один наш товарищ. Я не была с ней знакома, но ее позиция на суде и вообще всё, что я о ней знала, создавали впечатление давнего знакомства. Я была рада видеть эту храбрую девушку воочию и выразила восхищение ее несгибаемой волей. Она была миниатюрной и симпатичной, а

черты лица и фигура наводили на мысль о Японии, однако сила духа и искренность вкупе с внешним аскетизмом отсылали к русским революционеркам.

Молли и ее спутник пришли от имени своей группы упросить меня писать для их подпольного «Вестника». К сожалению, согласия на это я не дала: даже если бы у меня не было других дел, я не имела права заняться подобной деятельностью. Я ответила им, что собиралась возобновить издание «Матушки-Земли», но отказалась из-за неприятностей, которыми это было чревато для других. Я не боялась опасности и готова была встретиться с ней лицом к лицу, но не хотела быть выданной шпионами, неизбежно присутствующими в революционных ячейках. Молли разделяла мою позицию, поскольку сама еще не до конца оправилась от потрясения из-за предательства Розанского — парня, который сдал ее вместе с товарищами полиции, однако считала, что в условиях подавления любого проявления свободолюбия наши идеи необходимо распространять, невзирая на риски возможного предательства. Я же считала, что овчинка выделки не стоит, и отказалась участвовать в этой аванюре, чем разочаровала моих гостей, а юношу даже привела в ярость. Мне ни в коем разе этого не хотелось, но я не стала менять решения.

Еще одним противоречием между нами стала моя позиция по Советской России. Молодежь полагала, что к большевистскому государству анархисты должны относиться так же, как и к любой другой власти, а я настаивала на том, что Советы, ставшие объектом нападок реакционеров по всему миру, непозволительно рассматривать как обычное правительство. Я ничего не имела против того, чтобы критиковать большевиков, но совесть и убеждения не позволяли мне активно бороться с ними — во всяком случае, до тех пор, пока они не окажутся в меньшей опасности.

Мне очень хотелось обнять маленькую Молли, но в своей юной горячности она выглядела чересчур непреклонной, и я отважилась лишь на дружеское рукопожатие. Это была удивительная девушка, наделенная одновременно железной волей и нежным сердцем, но непоколебимая в своих убеждениях. «Прямо Александр Беркман в юбке», — пошутила я, рассказывая об этом Стелле. Молли, будучи истинной дочерью заводской трубы и революционного духа, работала с тринадцати лет и до тех пор, пока не попала в лапы властей. Она фактически повторила судьбу многих юных русских идеалисток времен царизма, жертвовавших жизнями, едва начав жить. Какая страшная участь была уготована моей соратнице — ее прямо с фабрики отправили в тюрьму Миссури на целых пятнадцать лет!

Я нашла уютную квартирку, а вскоре приехали и Минни с матерью, так что вселились туда мы уже втроем. Какое-то время нам казалось, что Елена взяла себя в руки: она хлопотала по хозяйству, шила и латала одежду. Чтобы еще больше занять ее, я часто приглашала к ужину друзей, и сестра добросовестно готовила на всех, изящно сервируя стол и очаровывая гостей своей улыбкой. Но вскоре новизна впечатлений притупилась, и ее обуяло прежнее горе. Все было впустую: она сетовала, что ее жизнь разрушена, что она потеряла смысл существования, и всё в ней мертво — мертво, как Дэвид в Буа-де-Раппель. Она повторяла, что не может так жить, и с этим нужно покончить, а посодействовать в этом ей должна я. День за днем она умоляла меня помочь ей, одновременно упрекая в жестокосердии и непоследовательности: я всегда считала, что каждый имеет право

распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению, и человека, мучающегося от неизлечимого недуга, не нужно заставлять страдать, однако ей отказывала в том, что предложила бы даже больному животному.

Отвратительно, но я чувствовала, что Елена права, называя меня непоследовательной: при виде того, как она постепенно умирает, отчаянно желая закончить свою жизнь, помочь ей в этом было бы, по меньшей мере, гуманно. Я нисколько в этом не сомневалась, но, даже тронутая мольбами сестры, никак не могла решиться на то, что, не задумываясь, сделала бы для любого другого смертельно раненного или больного человека. Я просто не могла заставить себя оборвать жизнь той, кто в детстве был мне и матерью, и сестрой, и подругой, и потому ночами продолжала бороться с ней, а днем не могла отделаться от страшной мысли, что, вернувшись домой, найду ее лежащей на тротуаре. Поэтому я не могла отлучиться, если не была уверена, что кто-то побудет с ней, пока Минни или меня нет дома.

Слушание по делу о моей высылке уже дважды откладывалось; наконец, его назначили на 27 октября. Перед отъездом из Атланты Саша сделал заявление. Отказавшись отвечать на вопросы федерального миграционного чиновника, который приехал к нему в тюрьму «слушать» его относительно депортации, он вместо этого обнаружил свою позицию, сформулированную в виде декларации:

«Цель настоящего слушания состоит в выяснении моего „умонастроения“, хотя на самом деле мои поступки, прежние или настоящие, никого не интересуют — это исключительно изучение моих взглядов и убеждений на предмет их лояльности.

Я отказываю кому бы то ни было в праве — личном или коллективном — устраивать инквизицию мысли, которая наделена (или должна быть наделена) свободой. Мои взгляды на общество и мои политические убеждения — это моё личное дело, и я никому не должен о них отчитываться. Ответственность за мысли может наступать лишь тогда, когда они находят выражение в действии, но не ранее. Свободу же мысли, непременно включающую в себя свободу слова и печати, я могу кратко определить так: никакое мнение не является ни законом, ни преступлением. Попытка власти контролировать мысли, предписывая одни мнения и запрещая другие, является высшей мерой тирании.

Настоящее слушание является вторжением в мою совесть, и поэтому я категорически отказываюсь в нём участвовать.

Александр Беркман».

Я тоже боролась против депортации, и Саша, не забывая себе голову юридическими тонкостями, связанными с лишением гражданства, и считая подобные действия правительства худшей формой диктатуры, немедленно присоединился к этой борьбе. У меня были причины оспаривать попытки Вашингтона выжить меня из страны: правительство Соединенных Штатов так и не представило мне объяснений по поводу тех грязных методов, посредством которых в 1909 году у меня отобрали гражданство, и я по-прежнему намеревалась вывести власти на чистую воду.

Мне давно хотелось снова побывать в России, и после Февральской и Октябрьской революций я окончательно решила вернуться на родину, чтобы помогать в ее возрождении, но хотела ехать по собственной воле и за свой счет, отказывая властям в праве выставить меня. Я предполагала, что ко мне будут предприняты жесткие меры, но не собиралась сдаваться без боя, а после фарса, в который превратился наш судебный процесс, не обольщалась по поводу итогов этой борьбы. И сейчас, и тогда свою главную цель я видела в публичном признании несостоятельности отдельных законодательных актов и возведении гражданства в ранг священного и неотъемлемого права человека.

Явившись в Иммиграционное бюро на слушание по своему делу, я увидела настоящий суд инквизиторов, усевшийся за заваленным папками столом. В них были собраны классифицированные, сведенные в реестры и тщательно пронумерованные документы — давным-давно не издаваемые анархистские газеты и журналы на разных языках, отчеты о моих речах десятилетней давности и прочая макулатура, с которой мне предстояло ознакомиться. До сих пор ни полиция, ни федеральные власти не считали крамолы ни один из этих материалов, теперь же выяснилось, что все они доказывают мое преступное прошлое и являются основанием для моей высылки. Это был самый настоящий балаган, участвовать в котором я не собиралась, и потому отказалась отвечать на какие бы то ни было вопросы, храня молчание на протяжении всего этого так называемого «слушания». Когда же оно подошло к концу, я передала жрецам фемиды заявление, часть из которого привожу по памяти:

«Если настоящее слушание призвано доказать мое мнимое злодеяние, некий мой злонамеренный и антиобщественный поступок, то я протестую против закрытости и допроса с пристрастием этого так называемого „суда“. Если же меня не обвиняют в конкретном преступлении или проступке, и это просто изучение моих общественных и политических взглядов (а у меня есть все основания так полагать), то я выражаю еще более решительный протест против этой процедуры, поскольку она является абсолютно деспотичной и полностью противоречащей основам истинной демократии. Каждый человек имеет право на собственное мнение без опасности быть подверженным преследованиям за свои убеждения...

Свободное выражение надежд и стремлений людей является величайшим достижением и единственной мерой предосторожности здорового общества, потому что лишь свобода слова может направить прогресс человечества по наиболее благоприятному пути. Однако моя высылка и законы, направленные против анархистов, ведут прямо в противоположную сторону. Их предназначение состоит в подавлении голоса народа, сдерживании любых порывов трудящихся. В этом и состоит истинная подоплека подобных секретных процедур и стремления изгнать из страны всех, кто не вписывается в рамки устоев, всеми силами и средствами оберегаемых олигархией.

Я всей душой протестую против этого заговора империализма против жизни и свободы американского народа.

Эмма Гольдман».

Газеты писали, что Молли Штаймер начала голодовку. Мы все очень переживали — с тех пор, как нашу соратницу выпустили под залог, и полиция штата, и федералы прямо-таки преследовали ее. За одиннадцать месяцев ее восемь раз без видимых причин арестовывали, держали в камере день-другой, затем отпускали и сразу же арестовывали вновь. Во время последней облавы в Русском доме, в котором располагались офисы Рабочего совета, Молли была задержана сотрудниками Иммиграционного бюро, и в этот раз ее продержали в камере восемь дней, выпустив под залог в тысячу долларов. Затем к ней прямо на улице подошли два детектива и под предлогом того, что их начальник желает с ней побеседовать, отвезли к «бомбистам», как в шутку называли тогда отдел по борьбе с терроризмом. Там она просидела три часа без допроса, затем была перевезена в участок и брошена в камеру, а на следующее утро газеты уже всю трубили о том, что ее обвиняют в подстрекательстве к революции. Молли сразу же перевели в «Гробницу» и через неделю отпустили под залог в пять тысяч долларов, но не успела она дойти до дома, как трое федералов предъявили ей очередной ордер на арест и отвезли на остров Эллис, где она по сей день и находилась.

На хрупкую девочку весом никак не более сорока килограммов обрушился весь карательный аппарат Соединенных Штатов. Молли грозили пятнадцать лет тюрьмы, и я хотела отговорить ее от голодовки: мировой судья разрешил мне сопровождать адвоката Гарри Вайнбергера во время посещения им своей подзащитной, болезненный вид которой лишь подчеркивал ее негибкую волю. На этом свидании она ни словом не обмолвилась о наших прежних разногласиях — напротив, судя по всему, она была искренне рада меня видеть.

Молли поведала, что ее все время держат под замком, не давая общаться с другими политическими заключенными и ссыльными, против чего она неоднократно протестовала, однако все ее усилия были тщетны, и потому она объявила голодовку. Я согласилась, что такое обращение совершенно недопустимо, но убеждала ее в том, что она не должна подрывать свое и без того слабое здоровье, потому что ее жизнь слишком важна для нашего движения. Прекратит ли она голодать, если мы добьемся послаблений режима? Сначала она не соглашалась, но затем все-таки сдалась, и я с удовольствием заключила нашу замечательную соратницу в объятия, словно дитя, беззащитное перед жестокостью мира.

Нам удалось уговорить мирового судью позволить Молли общаться с товарищами; правда, чтобы сохранить лицо, он пообещал сначала «разобраться в сути вопроса» и дать разрешение, только если «мисс Штаймер тоже сделает шаг навстречу». Мы сообщили об этом Молли, и она согласилась отменить голодовку.

В тот же вечер наша неутомимая Долли Слоун устроила для нас с Сашей прием в отеле «Бреворт». Мы предпочли бы Карнеги-Холл или какой-нибудь другой достаточно вместительный зал, чтобы стоимость билетов не отпугивала посетителей, однако во всем Нью-Йорке нам нигде не нашлось пристанища, кроме как в «Бреворте», администрация которого свято блюла традиции гостеприимства. Поэтому радость от встречи с друзьями, в том числе приехавшими издалека, была слегка омрачена тем, что не все из них смогли на ней присутствовать. В остальном же всё прошло очень хорошо: Лола Ридж, талантливая поэтесса-революционерка, с воодушевлением прочла посвященную нам с Сашей поэму,

другие выступавшие тоже не скупилась на похвалу; даже добряк Гарри Келли, старый наш товарищ, отдалившийся от нас из-за разногласий по поводу Мировой войны, снова был с нами.

Я говорила о героических людях, томящихся на острове Эллис, и о Молли, храбрость и преданность делу которой заставила многих прослезиться. Такие, как она, юноши и девушки стали теми всходами, что выросли на вспаханном нами поле, сказала я; это наши духовные отпрыски, которые унаследуют от нас всё лучшее, и благодаря им мы можем с уверенностью смотреть в будущее.

Похожий праздник в честь Кейт Ричардс О'Хары организовала добивавшаяся ее помилования группа радикально настроенных дам. Распорядительницей на мероприятии была Кристал Истмэн, мы же с Элизабет Герли Флинн были в числе выступающих. Я рассказывала о жизни Кейт в тюрьме Джефферсон-Сити и обо всём, чего она добилась для заключенных. Я подробно остановилась на ее по-дружески бескорыстном отношении к себе и поведала некоторые милые, характерные для Кейт детали нашего совместного тюремного быта. Особенно повеселили публику рассказы о её причёске: она даже в мастерской ни за что на свете не появилась бы без тщательной укладки. Этот ритуал требовал много времени и сил, а поскольку по утрам возможности для него не было, Кейт занималась им перед тем, как уснуть. Однажды ночью меня разбудили громкие ругательства Кейт. «Что случилось?» — спросила я. «Черт, я опять укололась шпилькой», — ответила она. «О, как мы себя любим!» — решила я ее поддразнить. «Конечно, любим! — парировала она. — И почему бы по этому поводу не покрасоваться? Жаль только, что красота требует жертв». «Ну, я бы не стала жертвовать чем-то ради такой глупости, как завивка». «Ах, вот как ты заговорила, Эмма Гольдман! А вот спроси-ка своих друзей-мужчин, и все тебе ответят, что причёска для женщины куда как важнее, чем умение произносить речи». Присутствующие засмеялись, и я не сомневалась в том, что большинство из них были согласны с Кейт.

Всевышний никогда не оставлял меня без трудов и забот: не успел встать с постели Саша, как слегла Стелла, которую нужно было теперь выхаживать. Единственная возможность отдохнуть появлялась, когда друзьям удавалось «выкрасть» меня, как это сделала, например, Эйлин Барнсдэлл.

Я познакомилась с ней, когда давала лекции в Чикаго. Она живо интересовалась драматургией и поставила в чикагских театрах несколько пьес. Нам было очень приятно проводить время вместе, всё более сближаясь. Так я узнала, что ее волнуют и проблемы общества, в особенности свобода материнства и контроль рождаемости, а деятельное участие Эйлин в судьбах Муни и Биллинга убедительно продемонстрировало, что ее помыслы не расходятся с делами: она в числе первых внесла деньги на адвоката, а затем ссудила на эти цели значительную сумму. После того, как я попала в тюрьму, я поняла, что Эйлин искренне беспокоится и обо мне: она специально приехала в Чикаго, чтобы встретиться со мной после освобождения, и это еще сильнее укрепило нашу дружбу, начавшуюся четырьмя годами ранее. Теперь же она примчалась в Нью-Йорк, «похитила» меня и ненадолго заставила забыть о мировых проблемах.

Однажды, когда мы сидели и обсуждали нависшую надо мной угрозу депортации, я процитировала Ибсена — его слова насчет того, что имеет смысл именно борьба за идеал, а не его достижение, и добавила, что сожалеть мне не о чем, поскольку моя жизнь была богатой и яркой. «А как насчет материальной стороны вопроса?» — неожиданно спросила Эйлин. «У меня нет ничего, кроме приятной внешности», — пошутила я в ответ. Подруга задумалась, а затем поинтересовалась, могу ли я получать деньги по чеку. Я сказала, что могу, но для ее чековой книжки было бы лучше не знать, как пишется мое имя. Эйлин заявила, что она имеет право распоряжаться своими деньгами, как она того желает, и властям не должно быть дела до этого, а затем протянула мне чек на пять тысяч долларов — на судебный процесс против высылки или на обустройство на новом месте, если меня все-таки вынудят покинуть страну.

Меня переполняли чувства, и я даже не смогла сразу поблагодарить Эйлин. Уже вечером я призналась ей, что меня не так страшила депортация, сколько страх зависеть от кого-то: с того дня, когда я прибыла в Америку, я не боялась ничего и скорее сохранила бы свою независимость в нищете, чем отказалась от нее ради богатства. Она была единственным моим достоянием, над которым я тряслась, как трясется скупой над своими пожитками. Изгнание из страны, которую я называла своей, для которой я столько сделала и выстрадала, не сулило радужных перспектив; но пристать к чужому берегу без гроша в кармане стало бы для меня действительно катастрофой. И это был не страх перед возможной нуждой — нет, это была боязнь того, что мне придется стать послушной, а это пугало меня больше всего. «Твой чек — не просто подарок, — сказала я Эйлин. — Он поможет мне остаться свободной и независимой, не теряя уважения к себе. Ты понимаешь это?» Она кивнула, и мое сердце преисполнилось невыразимой благодарности.

В годовщину Дня перемирия во всех европейских странах была объявлена политическая амнистия, и только Америка не открыла двери своих тюрем — напротив, облавы и аресты лишь участились. Едва ли нашелся бы город, где рабочих, которых считали русскими или подозревали в симпатиях радикальным взглядам, не забирали бы на улицах или прямо с рабочего места, и за всем этим стоял генеральный прокурор Митчелл Палмер, которого от одной мысли о радикалах бросало в дрожь. С задержанными обращались жестоко: дома предварительного заключения в Нью-Йорке, Чикаго, Питтсбурге, Детройте, Сиэтле и других промышленных центрах были забиты подобными «преступниками». Меня то и дело звали провести лекции: всеобщий психоз депортации не обошел стороной и рабочих-иностранцев, и от меня требовали прояснить этот вопрос.

Наша судьба тоже висела на волоске, а Саша был еще слишком слаб, и начинать лекционное турне было совсем нецелесообразно, но я не могла отказать людям, потому что чувствовала: эта поездка будет последней возможностью обличить позорное поведение моей второй родины. Я посоветовалась с Сашей, и он согласился с тем, что мне нужно ехать; в ответ я предложила ему отправиться в это турне вместе: это помогло бы ему изгнать из памяти ужасы Атланты и побыть напоследок с нашими товарищами. Он отвечал согласием.

Однако и наши друзья, и адвокат были категорически против нашего участия в этой кампании, убеждая нас в том, что, пока вопрос о нашей высылке еще не был окончательно решен, настраивать против себя федеральные власти было бы нежелательно. Но мы с

Сашей считали, что настал час выступить в поддержку России, и не могли позволить, чтобы над нашим решением довлели личные интересы.

Наше турне промчалось от Нью-Йорка до Детройта, а затем до Чикаго, и повсюду за нами следили как местные, так и федеральные агенты. Записывалось каждое наше слово, нас всеми силами старались заставить замолчать, но мы как ни в чем ни бывало продолжали — это был наш последний и решительный бой.

Несмотря на газетную шумиху, поднятую громкими репортажами о полицейском произволе с призывами держаться подальше от наших собраний и направленную на то, чтобы люди не шли к нам, митинги в Детройте и в Чикаго собрали тысячи людей. Это были не просто встречи, но грандиозные демонстрации, полные негодования против тирании и горячей признательности нам — коллективный глас народного духа, пробудившегося новыми надеждами и устремлениями, для которых мы лишь сформулировали цели и принципы.

2 декабря, во время прощального ужина, организованного нашими товарищами в Чикаго, в зал ворвалось несколько журналистов с известием о смерти Генри Клэя Фрика — газетчики подозревали, что мы празднуем именно это событие, хотя на самом деле мы узнали о нём как раз от них. «Мистер Фрик только что умер, — обратился к Саше некий дерзкий молодой репортер. — Что вы можете сказать по этому поводу?» «Депортирован к Господу», — сухо ответил Саша. Я добавила, что мистер Фрик взыскал с Александра Беркмана в полном объеме, но сам умер, не расплатившись по своим обязательствам. «Что вы имеете в виду?» — потребовали ответа журналисты. «Всего лишь то, что Генри Клэй Фрик был временщиком: его не особенно воспринимали при жизни и забудут вскоре после смерти. Это Александр Беркман сделал его известным, и помнить его будут лишь в связи с именем Беркмана, потому что и всё его состояние не снискало бы ему такой славы».

На следующее утро пришла телеграмма от Гарри Вайнбергера, из которой стало известно, что Федеральное министерство труда приказало нас выслать, для чего мы должны явиться 5 декабря и сдать на милость властей. У нас оставались два дня свободы, одна лекция и много дел в Нью-Йорке; Саша уехал их улаживать, а я осталась на последнюю встречу: как бы ни бушевал шторм, как бы высоко ни взметались волны, я была намерена стоять до конца, встречая их лицом к лицу.

На следующий день я вместе с Китти Бек и Беном Кейпсом села в экспресс до Нью-Йорка. Проводы в Чикаго прошли поистине по-королевски: почти весь перрон заполнили наши соратники, и это человеческое море было самым искренним проявлением всеобщей солидарности и симпатии.

Мои друзья и я торжественно ехали в самом скоростном американском поезде. «Что? Отказаться от комфорта в, возможно, последней твоей поездке по Штатам? — заявили мои друзья. — Ни в коем случае!» Даже первый класс казался им недостаточно роскошным для этого, а потому, невзирая на сухой закон, на столике появилось шампанское, пару бутылок которого каким-то образом добыл Бенни. Умея находить общий язык с обслугой, он прямо-таки очаровал нашего чернокожего проводника, который то и дело сновал мимо нашего купе, вдыхая окружающее его благоухание, пока, наконец, не решился заглянуть к нам.

